SHOUT
SHARE
IT

- Чудинова Елена

Чудинова Елена

Отец: попытка портрета

"И ни птица ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с земли человеческий род.
И весна, и весна встретит новый рассвет
Не заметив, что нас уже нет".

Человек бесконечно одинок - во всем живом и не живом мире он один сознает себя. Он выломан из общей гармонии неведающего Зла и Добра мира, он отщепенец, изгой, вкусивший от Древа Познания. Словно в порыве неосознанного мщения - он изощряет свой интеллект в том, чтобы калечить и разрушать исторгшую его Природу.

Доводилось мне наблюдать дар гармонического единения с природой у людей, что называется, простых. Вполне логично - чем меньше своего "я", тем ближе человек к братьям меньшим: к запаху невидимого водопоя, к шелесту дерев, к отсутствию страха смерти. Чем глубже зубы впились в терпкую мякоть запретного плода - тем больше "я", тем больше разорвано связывающих с природой уз. Словно бы их разрыв - плата за интеллект.

Но есть редкие счастливцы, чья личность развилась не разорвав этой лиственно-травяной пуповины. Мы знаем тех, чья слитность с природой поднята до осознания себя в ней. Для русской души это прежде всего Аксаков, Тургенев.

Но, да простится мне псевдонаучность, если Аксаков воспринимает природу в синхронном срезе, мой отец был из тех, кто ощущает ее в срезе диахронном. Он был эволюционист - как говорится, клейма негде ставить. Он бродил не по известняку, а по дну древнего океана, в журавле в небесах он узнавал похорошевшего птеродактиля, он ощущал ток времени, бегущего по жилам земли.

"Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то химическое действие солнца, дождей и земли, которое понадобилось, чтобы на этом холме выросла трава. Есть много романтического в истории каждой

травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре сил и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну", - говорит Мартин Иден, автопортретный герой Джека Лондона - одного из любимых отцовских писателей. Джек Лондон же пережил сокрушительное влияние Герберта Спенсера, в то время ведущего эволюциониста, сейчас, вероятно, устаревшего.

Вот и основные штрихи к портрету моего отца. Индивидуализм и эволюционизм, пронзительное чувство живой природы - главные составляющие творчества Джека Лондона. И уж коль скоро о Джеке Лондоне зашла речь, нельзя не сказать, что с англо-саксонской литературой (английской ли, американской…) у отца была особая ментальная близость, приметная даже внешне. Когда он, в фетровой шляпе, с ружьем на плече, бродил по осенним лесам Прикамья вслед за охотничьей собакой - голубоглазый, высоколобый, русоволосый (Так ведь и не обзавелся плешью до конца дней!), подтянутый (Какой толщины эспандеры гнул и за семьдесят лет - не всякий двадцатилетний осилит!) - больше всего походил он на какого-нибудь английского сквайра XIX столетия.

В прикамских лесах отец, сколько я помню, отдыхал каждую осень. После трех летних месяцев, проведенных в экспедициях. Такое даже в геологической среде редкость. Покормивши все лето комаров, геологи любят осенью теплое море, атмосферу курортов. Отец же за всю свою жизнь не провел отпуска в санатории, пансионате, доме отдыха, на курорте. Скоплениям праздных людей он предпочитал одиночество в лесном балаганчике, ночной волчий вой, который тщетно пытался записать на несовершенный магнитофон. Думается, разгадка его пристрастья кроется все в той же англо-саксонской литературе.

Передо мною видавшая виды книга "Уолден или жизнь в лесу" Генри Дэвида Торо. Поля ее испещрены рукою отца. Была ему свойственна эта привычка, казавшаяся естественной XIX веку, а со середины XX объявленная мещанами вандализмом. Особо приглянувшиеся места в любимых книгах отец иногда просто отчеркивал, иногда помечал восклицательным знаком, иной раз и спорил-соглашался мелкими неразборчивыми буквами.

Не найду теперь, кому, быть может Чехову, принадлежит любимое отцовское высказывание: следить за мыслью

выдающегося человека есть величайшее наслаждение. Цитирую по памяти, скорей всего неточно. Но теперь, когда отца нет, потрепанный томик Торо обретает для нас особую ценность из-за этих пометок на полях.

"В любую погоду, в любой час дня или ночи я стремился наилучшим образом использовать именно данный момент и отметить его особой зарубкой; я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности: прошедшее и будущее, - а это ведь и есть настоящее, - и этой черты придерживаться".

Верно автор песни, нравившейся отцу "есть только миг между Прошлым и Будущим Именно он называется жизнь" Торо также читал.

"Но цивилизация, улучшая наши дома, не улучшила людей, которым там жить".

С ужасом пишет Торо о тогдашних людях, позволивших земле овладеть душою. Но что сказал бы он о дачниках советских времен? Ничего бы не сказал, умер бы от ужаса, глядя на этих новых крепостных, протомившихся всю неделю в тесных конторах, чтобы под выходные ринуться набитыми пригородными поездами или на утлых жестянках о четырех колесах на крошечный клочок земли среди огромного людского муравейника - копать, полоть, консервировать. Мама просила иной раз, когда объявлялась возможность записаться за свои деньги в эту крепость - а может все-таки? Отец был непреклонен. Он понимал, как никто, что владеть загородным домом не сопричислясь к белым неграм может только человек очень богатый. Богатства ценой души, а иного в стране советов не бывало, отцу нужно не было. У его детей был летом чистый воздух на снятых дачах и купленные фрукты. И вот результат - я, провалявшаяся летними деньками в гамаках, обожаю покопаться в земле. Мой муж, с малолетства приобщенный к прополкам грядок, не может слышать без омерзения слово "дача".

Одно из двух, либо живи в своей Лунной Долине постоянно, чтобы взяться за книгу, отложив лопату, либо не имей земли вовсе.

Отец ее и не имел - он имел все Прикамье. "Легкая постройка как бы кристаллизовалась вокруг меня и влияла на своего строителя. Она оставляла простор фантазии, как контурный

рисунок. Чтобы дышать свежим воздухом, мне не надо было выходить, у меня и в доме было достаточно свежо. Даже в самую дождливую погоду я не был заперт в четырех стенах, а скорее сидел под навесом. ‹…› Я сразу оказался в соседстве с птицами, но мне не пришлось сажать их в клетку, - я сам построил себе клетку рядом с ними. Я приблизился не только к тем, кто обычно прилетает в сады и огороды, но и к более диким - к лучшим лесным певцам, которые почти никогда не услаждают слух жителей поселка" - тут уж я просто не знаю, кто это говорит, Торо или мой отец?

"Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил".

"Время - всего лишь река, куда я забрасываю свою удочку". Тут на полях стоит даже и восклицательный знак. Отец в равной мере был охотник и рыбак. Аксаковские "Записки об ужении рыбы" у него были еще и в отдельном экземпляре, хоть в доме имелось собрание сочинений. Но мог бы он повторить вслед за Аксаковым, когда тот упоминает в "Багрове внуке" что, де, в детские его годы уженье рыбы было еще в самом младенческом состоянии. Насколько я понимаю, отец был из первых, кто привез в начале шестидесятых годов из Америки так называемое "летающее уженье", переведенное впоследствии как нахлыст. В раннем моем детстве мы отдыхали каждый год в Тарусе, на что родителей подбил директор ПИНа Николай Николаевич Крамаренко, влюбленный на всю жизнь и в те края и в сам волшебный городок. Думается, в те времена только отец и Крамаренки, как Николай Николаевич так и Елена Игнатьевна, и были на всей Оке единственными такими удильщиками. Даже вроде бы смутно припоминаю заинтересованное недоумение местных.

Помню черную хрустальную гладь широкой Оки, заводи, заросшие ярко желтыми кувшинками. Плывет по течению лодка, свистит над водой спиннинг, скачут из воды голавли, хватая наживку. В бутылке из-под виски - холодный чай с ягодами свежей земляники. Мне лет пять.

А на залитой солнцем веранде теснятся по утрам на круглом столе нарядные коробочки с искусственными мухами из Франции, дары очаровательной коллеги Кристиан, и заготовки

для мух самодельных: особая белая резина, яркие перышки. Отец отрезает ножом кусочек резины, маникюрными ножничками придает ему форму мушиного туловища и головы, красит лаком для ногтей, сушит, а затем уж прикрепляет крючок и крылышки. Как глупой рыбе не польститься на такую красоту?

Да, охотник и рыболов, но это лишь внешний облик души. Вот еще одна выделенная цитата.

"На лбу самого сурового утеса вьются нежные кудри. В Природе нет ничего мертвого. Кучи лиственного орнамента лежат вдоль насыпи, как шлак на домны, показывая, что там, внутри, печь задута и работает во-всю. Земля - не осколок мертвой истории, не пласты, слежавшиеся как листы в книге, интересные лишь для геологов и антиквариев; это живая поэзия, листы дерева, за которыми следуют цветы и плоды: это не ископаемое, а живое существо; главная жизнь его сосредоточена в глубине, а животный и растительный мир лишь паразитируют на ее поверхности".

Можно процитировать всего "Уолдена", чтобы лучше понять моего отца, но, пожалуй, это одно из самых важных мест.

По Торо отец был "рожденным в ночи". Душу его заливала иногда черная меланхолия - спокойная, но довольно жуткая. В семье было принято считать это следом страшного детства. Что говорить, детство было страшным. Но все же мне начинает казаться сейчас, что отцовская меланхолия была скорее платой homo silvestris за оборотничество - городскую половину жизни.

А в городе отец был человеком весьма светским. Помню, был канун моего двенадцатилетия, начало сентября. Как правило отца на моих днях рождения не бывало. Даже самый первый он пропустил - слал с Великой Стены по счастью запоздавшую телеграмму, чтоб назвали Татьяной… Вот и на сей раз он по обыкновению намеревался удалиться в леса. Мы вышли с ним прогуляться, или по какому-то незначительному делу, не помню, только пришли, к моему изумлению, в кафе. Отец галантно принял мою вельветовую курточку, провел за столик, заказал шампанское. Так мы и отметили вдвоем мои двенадцать. Маму бы шампанское привело в справедливый ужас, но впечатление ребенку врезалось навсегда.

Я всегда одновременно завидовала другим детям и

снисходительно жалела их. У одноклассников отцы были как-то доступней, сердечнее, по домашнему проще. С ними не надо было взвешивать каждое слово, что я инстинктивно делала лет с восьми, ошибка не грозила ссорою месяца на три. С ними вообще можно было откровенно делиться ребяческими переживаниями, а с моим - нет. Не знаю почему, но нет. И вместе с тем я куда раньше, чем смогла это сформулировать, знала, что мой отец совсем другое, чем добрые обыкновенные "папы" сверстников. Он значительнее, он выше.

Отец даже внешне был совсем другое. В пятьдесят лет собственные сверстники еще шпыняли его в общественном транспорте: чего расселись, молодой человек, уступили бы место пожилому!

Никогда не позволял он себе ходить по городу в "спортивных" куртках, в вязаных шапочках. Всегда галстуки (К булавкам и прочим запонкам отец был весьма неравнодушен!), серые костюмы, шляпы, элегантные плащи и пальто.

С незначительными отступлениями, отец оставался таким до семидесяти шести лет, до года смерти моей матери. Нельзя, никак нельзя было назвать его стариком, когда он стоял у ее гроба. Но после отец начал стареть со скоростью снежной лавины. И ведь сложными были их отношения, да и ни с кем из близких несложных отношений у отца не было, а вот поди ж ты.

Словом, как и положено оборотню, в городе отец был стопроцентным горожанином. Однако ж кое-где след волчьей лапы все же проступал. Так не любил отец больших скоплений народу, толпы, (самое язвительно ненавистное слово из его лексикона!), даже толпы научной. "В стенах вечерних библиотек" отцу, в отличие от мамы, не работалось. Все необходимое для работы он предпочитал иметь. Стаскивать в свою нору. В результате скопилась библиотека, которая, я полагаю, скоро займет свое место в Институте Палеонтологии. А покуда нетронут крошечный его кабинет, украшенный лишь иконой Богоматери с Мечами в курьезном сочетании с накопанными в Гоби буддами. Еще два украшения, впрочем. Пронзительно тревоживший меня в детстве своим "англо-империалистическим" видом поношенный пробковый шлем и ковбойская шляпа из путешествия по Техасу. Остальное пространство в кабинете, кроме письменного стола, машинки "Оптима" и узкой кушетки, занято книжными полками. Входя, утыкаешься в стену энциклопедий, кое как обогнув,

попадаешь в пространство, где можно хотя бы сидеть. Вот и все, что мой отец имел в этой жизни. Да и то построил своими руками. Было тогда дано академической молодежи милостивое разрешение в нерабочее время трудиться на стройке. Отец работал прорабом, мама, беременная мною, кажется, учетчицей. Так родители и возвели дом, адские морды над аркой которого обрамляла надпись "Дом научной молодежи". В нем им досталась трехкомнатная квартира невпечатляющих габаритов.

Все собеседники отца, не только научные, теснились на книжных полках. Это были Тейяр де Шарден, Вернадский, Тютчев. Сумеречную сторону отцовской души питал леденящий экзистенциализм марктвеновского "Таинственного незнакомца". В изголовье же всегда лежало первое издание "Унесенных ветром", подарок Эверетта Олсона. Эту книгу отец обыкновенно читал на сон грядущий.

Едва ли ошибусь, что всю "Песнь о Гайавате" в переводе Бунина отец помнил наизусть. Ее изданий у него было штук пять разных. Мне же лет в семь он подарил книжку индейца Серая Сова под названием "Саджо и ее бобры", с рисунками автора.

Истинную страсть отец испытывал к словарям, которые читал как детективы. Отовсюду глядят и блекло синий пузатый Оксфордский словарь, и старый вишневый двухтомник древнегреческого, не говоря уж о нескольких латинских. Словарь английских фамилий я у отца временами воровала и прятала, но он рано или поздно раскапывал и возвращал к себе. Обнаружив сорочье гнездо разоренным я выжидала, а затем воровала снова. Все это - при полном умолчании обеих сторон. А словарь Даля у отца просто не поместился, перекочевал к общесемейному книжному стаду.

Любил отец и великих "средних англичан" Диккенса с Джеромом, любил Киплинга, любил крепкий чай, а к кофею был решительно безразличен. Не менее безразличен, чем к Бальзаку или Золя.

Скажи мне, каковы твои любимые книги, и я скажу, кто ты.

Обдумывая этот очерк, я предполагала выстроить его иначе. Но страшное детство, война, история семьи, встающая за спиной отца яркая фигура деда - все это отчего-то не легло. Быть может потому, что биографию отца я во многом описала в посвященном

моей матери романе "Инна". Не знаю. С удивительной легкостью, вопреки унаследованной от отца злопамятности, я забыла упомянуть и о тех, кто тяжко обидел его, предал, сократил плодотворные годы его научной деятельности. Пусть их. Я всегда считала отца человеком несчастным: слишком глубокие шрамы были на его душе, слишком много несправедливостей выпало на его долю, слишком тяжел был характер, для него самого в том числе. Слишком долго переживал он обиды. Слишком нищей была его старость, не по заслугам нищей. Но чем дальше отступает отцовская смерть, тем ясней мне делается, что жалеть отца незачем. Он был все же счастлив, счастливее многих и многих. Все тяготившее его оставалось на городской половине жизни, а в лесной ее половине он часто испытывал мгновения высочайшей гармонии духа и разума. Другой задохнулся бы на такой высоте.

Ни мне, ни сестре, отец не был близким другом. Строго говоря, отцом он был, как я упоминала, не идеальным. Но сколько седых уже мужчин говорили нам на похоронах: "Петр Константинович был мне родной отец!" Мало о чьих хороших отцах такое скажут чужие. Так может и Бог с ними, с заурядными добродетелями заурядных людей, папа? Спасибо тебе за то, чем ты был.

Пусть образ отца навсегда останется таким. Вот бредет он окрашенными осенью родными лесами - ружье на плече, финка в кожаном чехле на поясе джинсов, воротник теплой куртки поднят, фетровая шляпа. Ветерок шевелит тонкие русые волосы на высоком лбу. А впереди бежит спаниель.

Чудинова Е. П. Отец: попытка портрета // Московские герпетологи. (Ред. Россолимо О. Л., Дунаев Е. А.) М.: Изд-во КМК. 2003. С. 91-101.